

PATTI SMITH



PATTI SMITH



JUST KIDS

УДК 821.111 (73)-94
ББК 84(7Сое)
С50

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

Смит, П.

С50 Просто дети / ПАТТИ СМИТ; пер. с английского С. СИЛАКОВОЙ. — М.: Астрель : CORPUS, 2011. — 368 с.

ISBN 978-5-271-34418-3 (ООО “Издательство Астрель”)

Патти Смит — американская рок-певица и поэт, подруга и любимая модель фотографа Роберта Мэплторпа. В своих воспоминаниях она рисует точный и в то же время глубоко личный портрет эпохи. Нью-Йорк конца шестидесятых — начала семидесятых, атмосфера “Фабрики” Энди Уорхола и отеля “Челси”, встречи с великими поэтами-битниками и легендарными музыкантами — все это неразрывно переплетено с историей взросления и творческого роста самой Патти, одной из самых ярких представительниц поколения. “Просто дети” — это не только бесценное свидетельство о времени и щемящее признание в любви ушедшему другу. Это глубокая, выверенная, образная проза поэта, выходящая далеко за рамки мемуарного жанра.

УДК 821.111 (73)-94
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-271-34418-3 (ООО “Издательство Астрель”)

- © 2010 by Patti Smith
 - © С. Силакова, перевод на русский язык, 2011
 - © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2011
 - © ООО “Издательство Астрель”, 2011
- Издательство CORPUS ®

Содержание

Предисловие	9
Рожденные в понедельник	11
Просто дети	49
Отель “Челси”	121
Разными дорогами вместе	279
За руку с Богом	341

*О Роберте сказано много, а будет сказано еще больше.
Юноши будут подражать его походке. Девушки будут
надевать белые платья и оплакивать его кудри.
Его будут проклинять и боготворить. Осуждать или
романтизировать его крайности. В итоге правду о нем
узнают через его творчество: произведения
художника — это и есть его материальное тело.
Тело, которое не чахнет. Тело, которое люди судить
не властны: ведь искусство поет о Боге и,
по большому счету, только Ему и принадлежит.*

Предисловие



ОН УМЕР, ПОКА Я СПАЛА. Я звонила в больницу, чтобы в очередной раз пожелать ему спокойной ночи, но он забылся, погрузился на дно, под толщу морфия. Я прижимала трубку к уху и слушала с того конца провода его тяжелое дыхание, зная: слышу в последний раз.

Потом тихо разложила по местам свои вещи: блокнот, авторучка. Чернильница из кобальтового стекла — его чернильница. Моя чаша Джамшида¹, мое “Пурпурное сердце”², коробочка с молочными зубами. Я медленно поднялась по лестнице, пересчитывая ступени, все до одной, насчитала четырнадцать. Укрыла одеялом малышку в колыбели, поцеловала спящего сына, легла рядом с мужем, произнесла молитву. Помню, как прошептала: “Еще жив”. И заснула.

Проснулась рано и, спускаясь по лестнице, осознала: его не стало. Полную тишину в доме нарушал только теле-

1 Чаша Джамшида — волшебный предмет из персидской мифологии. В этой чаше, как в зеркале, отражается весь мир. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

2 “Пурпурное сердце” — воинская награда в США; вручается за одно боевое ранение.

визор, не выключенный с вечера. Какой-то канал классической музыки. Какая-то опера. Меня словно магнитом притянуло к экрану в тот момент, когда Тоска горестно и пылко признавалась в страстной любви к Каварадосси. Утро было холодное: март. Я надела свитер.

Подняла жалюзи, и кабинет озарился светом. Расправила плотное льняное покрывало на своем кресле, выбрала на полке книгу — альбом Одилона Редона, раскрыла на картине с женщиной в море: огромная голова над водой, маленькое море. “Les yeux clos”¹. За сомкнутыми бледными веками — никому не ведомый мир. Телефон заверещал, я встала, подняла трубку.

Звонил младший из братьев Роберта, Эдвард. Сказал: напоследок, как обещал, поцеловал Роберта от меня. Я застыла, где стояла, окаменела; потом медленно, сомнамбулически вернулась на кресло. И тут Тоска запела гениальную арию “Vissi d’arte”. “Я жила ради любви, я жила ради искусства”. Я прикрыла глаза, сложила руки на груди. Провидение само решило за меня, как мне с ним проститься.

1 “Закрытые глаза” (*фр.*) — название картины.

РОЖДЕННЫЕ
В ПОНЕДЕЛЬНИК



КОГДА Я БЫЛА СОВСЕМ МАЛЕНЬКАЯ, МАМА водила меня гулять в парк Гумбольдта на берегу реки Прери. В моей памяти запечатлелись размытые, точно на стеклянных фотопластинках, картины: старинный павильон лодочной станции, круглая эстрада-“ракушка”, каменный арочный мост. Река текла по узкому руслу, а потом широко разливалась, и там, на глади лагуны, я увидела особенное чудо: платье из белых перьев, тянется вверх длинная изогнутая шея.

“Лебедь”, — сказала мать, заметив мой восторг. Существо рассекало блестящие воды, хлопая огромными крыльями, пока не взмыло в небо. Его имя ни капельки не выражало его великолепия, не передавало чувств, которые во мне всколыхнулись. Во мне проснулась потребность, которой я даже названия не знала, — желание рассказать о лебеде, о том, какой он белый, как движется, словно взрываясь на ходу, как медленно всплескивает крыльями. Лебедь слился с небом, а я никак не могла подобрать слова, чтобы описать свое впечатление. “Лебедь”, — недовольно повторила я, и в груди у меня защемило: зародилось непонятное томление, незаметное ни прохожим, ни матери, ни деревьям, ни облакам.



Я родилась в понедельник, в Чикаго, на Норт-Сайд, во время Великой Снежной Бури 1946 года. 30 декабря. А надо бы днем позже: младенцы, которые появлялись на свет 31 декабря, прибывали из роддома с приданым — новым холодильником. Как мама ни силилась удержать меня в животе, роды начались прямо в такси, которое еле ползло по берегу озера Мичиган через снежную круговерть. Если верить отцу, я родилась тощая и долговязая и тут же заболела бронхопневмонией, и папа меня выхаживал, держа в клубках пара над тазом с кипятком.

В 1948-м, в дни новой снежной бури, на свет появилась моя сестра Линда. Я была вынуждена быстро оправдать надежды родителей на меня — старшую сестру. Мама была занята — подрабатывала, глядя на дому белье, а я сидела на крыльце дома, где мы снимали меблированные комнаты, и дожидалась последней в городе телеги с лошадьё — повозки торговца льдом. Торговец дарил мне ледышки, завернутые в оберточную бумагу. Одну ледышку я отложила в карман для сестренки. Потом полезла за ней — а ледышки-то и нету.

Когда мама была беременна в третий раз — ждала моего брата Тодда, мы покинули свое тесное жилище на Логансквер и переселились в Пенсильванию, в Джермантаун. Несколько лет прожили во временном жилье для военнослужащих и их семей — беленых казармах с видом на заброшенное поле, где буйно цвели полевые цветы. Мы называли поле Лоскутом, летом взрослые там посиживали: беседовали между собой, курили, пускали по кругу банки с вином из одуванчиков, а мы, дети, на поле играли. Мать научила нас играм своего детства: “Море волнуется”, “Третий

лишний”, “Цепи-цепи, вам кого?”. Мы плели венки из маргариток, носили их на шее, надевали на головы. По вечерам ловили банками светлячков, выдирали у них огоньки и делали светящиеся колечки.

Мать научила меня молиться — молитве, которой научилась у собственной матери. “Отче небесный, ко сну отхожу, И душу свою я Тебе предаю”. Когда смеркалось, я становилась на колени у своей кровати, а мать стояла рядом, смолила сигареты и внимательно слушала, как я повторяю за ней строки. Молилась я от всего сердца, но слова молитвы меня нервировали, и я донимала мать расспросами. Что такое душа? Какого она цвета? Я побаивалась, что моя душа — она ведь озорная — сбежит, пока я сплю, и больше не вернется. Потому-то я изо всех сил старалась не задремать, удержать душу в себе — на положенном месте.

Мама записала меня в библейскую школу — наверно, чтобы удовлетворить мое любопытство. Там зубрили наизусть стихи из Ветхого Завета и слова Иисуса. После занятия мы строились в шеренгу, и нас вознаграждали медом в сотах, который доставали ложкой из банки — одной на всех детей, а дети наперебой кашляли. От ложки я инстинктивно уворачивалась, но идею Бога приняла быстро. Мне было приятно воображать, что наверху над нами кто-то есть: он вечно в движении, точно жидкие звезды.

Детская молитва меня не устраивала, и вскоре я попросила маму: “Можно, я сочиню свою?” Какое же это было облегчение, когда уже не требовалось твердить: “И если, Боже, умру я во сне, возьми мою душу на небо к Себе”, а вместо этого высказывать все, что на сердце. Итак, мне дали волю, и, лежа на своей кровати у угольной печки, я упоенно обращалась к Богу с долгими мольбами, беззвучно шевеля губами. Я страдала бессонницей и, верно, немало

утомила Господа своими бесконечными клятвами, видениями и замыслами. Но со временем переключилась на молитвы другого сорта: безмолвные, для которых требовалось больше слушать, чем говорить.

Мой словесный ручей растекся, сменился ощущением, будто я то расширяюсь, то сжимаюсь. Так я вошла в сияющий мир фантазии. Отчетливее всего он становился в горячечном жару гриппа, кори, ветрянки или свинки. Всеми этими болезнями я переболела, и каждая поднимала мое сознание на новый уровень. Я забивалась глубоко внутрь своего “я” и смотрела, как надо мной, разгораясь все ярче сквозь сомкнутые веки, вращается симметрия снежинки; так я раздобыла самый ценный сувенир — отблеск небесного калейдоскопа.

Постепенно с любовью к молитве во мне стала соперничать любовь к книге. Я устраивалась у маминых ног и смотрела, как она курит, пьет кофе и переворачивает страницы книги, лежащей на коленях. Меня интриговало, что мама так поглощена чтением. В школу я еще не ходила, но мне нравилось рассматривать мамины книжки, гладить бумагу, приподнимать листки папиросной бумаги с фронтисписов. Чего такого в этих книгах, что мама от них не отрывается? Когда мама обнаружила, что я сплю на ее малиновой “Книге мучеников” Фокса¹ — прячу фолиант под подушку, надеясь впитать его смысл, — то усадила меня за стол и приступила к трудоемкому процессу обучения грамоте. Ценой непосильного труда мы одолели “Матушку Гусыню” и перешли к доктору Сьюзу. Когда я достаточно поднаторела, мама разрешила мне устроиться рядом с ней

¹ Джон Фокс (1516—1587) — английский проповедник. В его “Книге мучеников”, популярной среди пуритан, особый акцент делается на страданиях английских протестантов и их предтеч с XIV века по царствование Марии I.

на мягком — сядешь и проваливаешься — диване: она читала “Башмаки рыбака”¹, а я — “Красные башмачки”².

На книгах я просто помешалась. Мечтала прочесть все, какие только есть на свете. А прочитанное рождало во мне все новые порывы. А не поехать ли мне в Африку, чтобы предложить свои услуги Альберту Швейцеру? Или надеть шапку с енотовым хвостом, прикрепить к поясу рожок для пороха и защищать простых людей, как Дэви Крокетт? Или забраться высоко в Гималаи и поселиться в пещере: вертеть молитвенное колесо, чтобы вертелась Земля? Но сильнее всего хотелось самовыражаться, и брат с сестрой стали моими первыми истовыми сообщниками, охотно вкушавшими плоды моей фантазии. Слушали мои рассказы, раскрыв рот, с энтузиазмом играли в моих пьесах и храбро сражались на моих войнах. Казалось: раз брат с сестрой за меня, для нас нет ничего невозможного.

Весной я часто болела. Была прикована к постели, обречена слышать только со стороны, сквозь открытое окно, крики играющих на улице. Летом младшие докладывали мне, какую часть нашего пустыря удалось отстоять перед натиском врага. В мое отсутствие мы проиграли не одну битву; мои усталые солдаты собирались у моей постели, и я благословляла их стихами из библии маленького воина — “Детского цветника стихов” Роберта Льюиса Стивенсона.

Зимой мы строили снежные крепости, и я руководила кампанией в ранге генерала: рисовала карты и отмечала стрелками наши стратегические планы, наступления и отступления. Мы вели войны наших ирландских дедов — противоборство оранжевых и зеленых. Мы носили оранжевое,

1 Роман австралийского писателя Морриса Уэста о кардинале из Львова, который после заключения в ГУЛАГе становится Папой Римским.

2 Сказка Г.-Х. Андерсена.

но понятия не имели, что оно значит: просто мундиры у нас такие. Когда битвы приедались, я объявляла перемирие и шла в гости к моей подруге Стефани. Она выздоравливала от болезни, недоступной моему разумению, — лейкемии или чего-то наподобие. Стефани была старше меня — ей было, наверно, лет двенадцать, а мне восемь. В сущности, мне было особенно нечего ей сказать, и я вряд ли скрашивала ее жизнь, но было видно, что мое общество доставляло Стефани огромную радость. Ее старшая сестра вешала сушиться мою промокшую одежду и приносила нам какао с крекерами на подносе. Стефани откидывалась на гору подушек, а я плела всякие байки и читала ее комиксы. Если честно, то, наверно, я дружила со Стефани не по доброте душевной — мне просто хотелось полюбоваться ее богатствами. Я заворуженно глазела на ее собрание комиксов: огромные штабеля, компенсация за целое детство, проведенное в четырех стенах. У нее были все выпуски “Супермена”, “Крошки Лулу”, “Классических комиксов” и “Дома загадок”. В старой коробке от сигар Стефани хранила полный набор талисманов за 1953 год: рулетка, пишущая машинка, конькобежец, красный Пегас — логотип “Эксон мобил”, Эйфелева башня, балетные пуанты, брелки в форме всех сорока восьми материковых штатов США. Я могла играть ими бесконечно. Если у Стефани появлялся дубль какого-нибудь талисмана, она его мне дарила.

У меня был тайник под половицей около кровати. Там я хранила заначку — деньги, выигранные в шарики, а еще коллекцию вкладышей и предметы культа, спасенные из мусорных баков у домов католиков: выцветшие бумажные образки, обтрепанные скапулярии¹, гипсовых святых с обло-

¹ *Скапулярий* представляет собой два скрепленных шнурами прямоугольных куска материи с религиозными изображениями или текстами. Католические священники или миряне, принявшие на себя определенные обеты, носят скапулярии на теле под одеждой. Имеются в виду малые (вотивные) скапулярии.

манными пальцами и ступнями. Туда я прятала и принесенное от Стефани — смутно догадывалась, что не следует принимать подарки от больной. Но все-таки брала их и прятала, ощущая легкие угрызения совести.

Я пообещала навестить Стефани на Валентинов день, но не пошла. Мои обязанности генерала во главе армии из Линды, Тодда и соседских ребят были очень утомительны. Вдобавок валил густой снег — зима вообще выдалась суровая. На следующий день я оставила боевой пост, чтобы выпить со Стефани какао. Она была какая-то спящая, умоляла меня не уходить, а сама задремала.

Я залезла в шкатулку с ее сокровищами. Шкатулка была розовая; поднимаешь крышку — и внутри начинает кружиться балерина, вылитая Фея Драже. Одна брошка в виде фигуристочки меня настолько пленила, что я сунула ее в варежку. И, закаменев от страха, долго сидела у постели Стефани; потом встала и на цыпочках вышла, а Стефани так и не проснулась. Я засунула брошку на самое дно своего тайника. Спала я в ту ночь урывками: меня будила совесть. Проснулась вся разбитая, в школу пойти не смогла: провалялась в кровати, придавленная грузом вины. Мысленно поклялась вернуть брошку и попросить прощения.

Наутро наступил день рождения моей сестры Линды, но праздник отменили: Стефани стало хуже, и мои родители поехали в больницу сдавать для нее кровь. Когда они вернулись, отец плакал, а мама встала на колени у моей кровати и сказала мне, что Стефани умерла. Она пощупала мой лоб, и ее скорбь моментально сменилась тревогой: я вся горела. Оказалось, у меня скарлатина. В пятидесятые годы этой болезни очень боялись: она часто переходила в неизлечимую форму ревматизма. В нашей квартире объявили карантин, дверь выкрасили в желтый цвет. Болезнь приковала

меня к постели, и на похороны Стефани я не пошла. Ее мать принесла мне все стопки комиксов и коробку от сигар с брелками. Теперь я обладала всеми сокровищами Стефани, но даже взглянуть на них не могла — слишком плохо себя чувствовала. Тогда-то я ощутила тяжесть греха, даже такого мелкого, как кража брошки. Осознала: как бы я ни старалась вести себя хорошо, теперь мне не стать святой. И прощения Стефани никогда уже не заслужить. Но в одну из бессонных ночей, в постели, я вдруг сообразила: а вдруг со Стефани можно поговорить, если помолиться ей или хотя бы попросить Бога, чтобы он замолвил перед ней словечко?

Эта история очень нравилась Роберту, и иногда, в какое-нибудь холодное апатичное воскресенье, он упрашивал меня вновь ее рассказать.

— Я хочу послушать про Стефани, — говорил он.

В те наши долгие утра под одеялом я не опускала ни одной детали: рассказывала, как по писаному, истории своего детства, его чудес и печалей, а мы с Робертом пытались внушить себе, что ничуть не голодны. И всякий раз, когда я доходила до момента, как открываю шкатулку с драгоценностями, Роберт вскрикивал: “О нет, Патти, нет...” Мы часто подсмеивались над тем, какими были в детстве: я, дескать, хулиганка, которая пытается стать пай-девочкой, а Роберт — пай-мальчик, но пытается стать хулиганом. Шли годы, и мы обменивались между собой ролями снова и снова, пока не смирились с двойственностью наших натур. В нас сосуществовали оба начала: и свет и тьма.

Я была мечтательным ребенком, жила как во сне. Озадачивала учителей тем, что рано выучилась читать, но была абсолютно не способна найти своим способностям практическое, с точки зрения педагогов, применение. В моей характеристике из школы разные педагоги писали все то же: “Слиш-

ком часто витает в облаках, постоянно отвлекается”. Я и сама не знаю, куда уносилась в своих мыслях, но приземлялась частенько в углу: меня сажали на высокий стул всем на обозрение и надевали мне на голову позорный бумажный колпак.

Позднее я рисовала для Роберта эти потешные сцены унижений — на листах крупного формата, во всех подробностях. Он обожал эти истории. Похоже, Роберт преклонялся перед всеми чертами моего характера, которые другим казались отталкивающими, чуждыми. Благодаря этому диалогу в рисунках мои детские воспоминания сделались и его воспоминаниями.



Я расстроилась, когда нас выселили с Лоскута — пришлось собирать чемоданы и начинать новую жизнь на юге штата Нью-Джерси. Мама родила четвертого ребенка, девочку, которую мы растили общими усилиями, — болезненную, но жизнерадостную Кимберли. На новом месте, среди болот, свиноферм и персиковых садов, я почувствовала себя в изоляции. Ушла в книги и в составление энциклопедии, которая, впрочем, не продвинулась дальше статьи “Боливар”. Отец приобщил меня к научной фантастике, и одно время мы вместе высматривали НЛО в небесах над зданием, где занимался местный клуб народного танца. Мы вели наблюдения, а папа неустанно опровергал теорию происхождения жизни на Земле.

В возрасте одиннадцати лет ничто не доставляло мне столько удовольствия, как долгие прогулки с собакой в лесу неподалеку от дома. Из красной глинистой почвы торчали гнилушки, “джек-на-амвоне”¹ да сунсова капуста. Я на-

¹ Jack-in-the-pulpit (*англ.*), или аризема трехлистная — североамериканское растение, получившее свое народное название из-за формы цветка.

ходила уютное уединенное местечко, усаживалась, клала голову на какой-нибудь поваленный ствол у ручья, где в воде мельтешили головастики. В пыльных полях около карьера я и мой преданный адъютант — мой брат Тодд — ползали по-пластунски. Нашей старательной сестре поручалось бинтовать наши раны и снабжать нас драгоценной водой из папиной солдатской фляги.

Как-то раз, когда, прихрамывая, под солнцем, нависшим над головой как тяжелая наковальня, я возвращалась с передовой в тыл, прямо на меня выскочила из засады мать.

— Патриция! — проворчала она. — Надень блузку!

— В блузке жарко, — огрызнулась я. — Все ходят в одних штанах, а я что?

— Даже если очень жарко, пора тебе носить блузку. Ты уже большая, скоро станешь взрослой барышней.

Я возмутилась, объявила, что никогда никакой взрослой барышней не стану, буду только самой собой, и вообще я из клана Питера Пэна — мы не взрослеем.

Мама взяла верх, и я надела блузку, но испытала горькую муку: казалось, меня предали. Я уныло наблюдала, как мать делает женскую работу по дому, подмечала, какая у нее округлая, самая что ни на есть женская фигура. И мне казалось: все это — и домоводство и округлости — противостоит, противоречит моей натуре. Меня передергивало от аромата духов и красных, как кровавые раны, ртов — в пятидесятые годы душились сильно и красились густо. Одно время я дулась на маму — она не просто принесла мне дурную весть, но и сама эту весть олицетворяла. Я сидела с собакой у ног, огорошенная, но непокорная, и мечтала о дальних странах. Вот сбегу и поступлю в Иностран- ный легион, дослужусь до офицера, стану водить солдат в марш-броски по пустыне.

Утешение я нашла в книгах. Взглянуть на мой женский удел с позитивной стороны мне помогла, как ни странно, Луиза Мэй Олкотт. Джо Марч — одна из героинь “Маленьких женщин”, настоящий “мальчишка в юбке” — становится писательницей, чтобы в годы Гражданской войны зарабатывать на хлеб себе и родным. Своим бунтарским корявым почерком она исписывает страницу за страницей — сочиняет рассказы для местной газеты. Джо вдохновила меня на стремление к новой цели, и вскоре я уже писала рассказы и рассказывала брату с сестрой длинные байки. Тогда-то у меня появилась мечта когда-нибудь написать книгу.

Еще через год отец устроил нам редкостную экскурсию в Филадельфийский музей изобразительных искусств. Мои родители были заняты по горло, и поездка с четырьмя детьми на автобусе в Филадельфию оказалась хлопотным и недешевым делом. Для нашей семьи это был первый и последний выезд куда-то всем скопом, а для меня — первая в жизни встреча с искусством лицом к лицу. В длинных томных фигурах Модильяни я узнавала себя, как в зеркале, элегантно-застывшие персонажи Сарджента и Томаса Икинса меня заморозили, а сияние импрессионистов ослепило. Но глубже всего поразили — пронзили сердце — работы из зала Пикассо, от арлекинов до кубизма. У меня перехватило дух от его непоколебимой уверенности в себе.

Отец восхищался Сальвадором Дали: виртуозная техника, глубокий символический смысл. Но у Пикассо он вообще никаких достоинств не заметил, и мы впервые в жизни крупно поспорили. Тем временем мама хлопотала, собирая младших по залам — они разбегались и скользили по гладким мраморным полам. Когда мы гуськом спускались по гигантской лестнице, я, несомненно, внешне оставалась все той же — угрюмой двенадцатилетней девочкой с костлявыми локтями и

коленками. Но в глубине души знала, что преобразилась: мне открылось, что люди создают произведения искусства, а быть художником значит видеть то, чего не видят другие.

Я отчаянно хотела стать художником, но ничем не могла доказать себе, что во мне есть задатки. Намечтала, будто чувствую в себе призвание к искусству, и молилась, чтобы оно действительно проявилось. Но однажды, когда я смотрела фильм “Песнь Бернадетте” с Дженнифер Джонс, меня поразило, что юная святая не просила Господа о зове свыше. Это настоятельница монастыря мечтала сделаться святой, но Бог избрал Бернадетту¹, скромную крестьянскую девушку. Я забеспокоилась. Нести тяжкий крест призвания я была вполне готова, но как быть, если меня так и не призвуют?!

Я росла как на дрожжах. Пять футов восемь дюймов, а весу — хорошо если сто фунтов. В четырнадцать лет я была уже не генералом маленькой, но преданной мне армии, а тощим изгоем, объектом всеобщих насмешек. Ни же меня на школьной социальной лестнице никого не было. Я спасалась тем, что выручало подростков в 1961 году, — книгами и рок-н-роллом. Родители работали в ночную смену. Сделав уроки и работу по дому, мы с Тодди и Линдой танцевали под Джеймса Брауна, *Shirelles*, Хэнка Балларда с *Midnighters*. Боюсь показаться нескромной, но все-таки скажу: танцевали мы не хуже, чем воевали.

Я рисовала, танцевала, сочиняла стихи. Вундеркиндом не была, выезжала на своем богатом воображении. Учителя меня поощряли. Когда я победила в конкурсе, который спонсировал местный магазин красок “Шервин-Уильямс”,

¹ *Бернадетта* (св. Мария-Бернарда, Мария-Бернарда Субиру/Собирос; 1844—1879) — дочь мельника из французского города Лурда, которой являлась Богоматерь. Часовня в Лурде сделалась одним из крупнейших в мире центров христианского паломничества.

мои работы вывесили в магазинной витрине, а денежной премии хватило на деревянный этюдник и набор масляных красок. Я прочесывала библиотеки и церковные благотворительные распродажи в поисках альбомов по искусству. Тогда можно было приобрести прекрасные издания буквально за гроши, и я упивалась миром Модильяни, Дюбюффе, Пикассо, Фра Анджелико и Альберта Райдера¹.

На шестнадцатилетие мама подарила мне книгу “Необычайная жизнь Диего Риверы”. Меня поразили размах его фресок, его скитания и мытарства, любовные истории и творческие усилия. В то лето я устроилась на завод браковщицей — проверяла рули для трехколесных велосипедов. Адская работа. От своих монотонных обязанностей я спасалась, погружаясь в грезы. Мечтала вступить в братство художников: как они, голодать, как они, одеваться, как они, работать и молиться. Я хвалилась, что когда-нибудь стану любовницей художника: по юности мне казалось, что ничего романтичнее на свете и быть не может. Воображала себя Фридой рядом с Диего — художницей и музой по совместительству. Мечтала познакомиться с каким-нибудь художником: я бы его любила и поддерживала и работала бы с ним бок о бок.



РОБЕРТ МАЙКЛ МЭППЛТОРП родился в понедельник 4 ноября 1946 года. Он был третьим из шестерых детей в семье. Вырос он в Флорал-парк на Лонг-Айленде. Мальчик был озорной, через его беспечное

¹ *Альберт* Пинкхэм *Райдер* (1847—1917) — американский художник, писал аллегорические картины и морские пейзажи.



В библейской школе в Филадельфии



В ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРИЧАСТИЯ.
ФЛОРАЛ-ПАРК, ЛОНГ-АЙЛЕНД

детство проходила тончайшей нитью любовь к прекрасному. Глаза ребенка улавливали и сохраняли в памяти каждый блик света, каждый перелив драгоценного камня, богатое убранство алтаря, блеск золотистого саксофона или россыпь голубых звезд. Он был застенчивый, грациозный, маленький аккуратист. Еще в раннем детстве его душа пылала сама и стремилась воспламенить всех вокруг.

Свет озарял страницы его книжки-раскраски и его тоненькие пальчики. Он обожал раскрашивать картинки, но не для того чтобы заполнять пустоты на листе, а чтобы подбирать цвета, которых не выбрал бы никто другой. В зелени холмов он видел алое. Снег лиловый, лица зеленые, солнце серебряное. Ему нравилась реакция окружающих, нравилось, что братья и сестры смотрят ошарашенно. Он обнаружил в себе талант рисовальщика. График он был прирожденный. Исподтишка корежил на своих рисунках предметы, превращал в абстракции и чувал свое растущее могущество. Он был художник и сам знал об этом. Нет, не воображал себя художником, как иногда воображают дети. Просто сознавал: ему это дано.

Свет озарял любимую игрушку Роберта — набор “Украшения своими руками”: пузырьки с эмалевой краской, малюсенькие кисточки. Пальцы у него были ловкие. Он упивался своим умением собирать из мелких деталей и декорировать броши для матери. Его не смущало, что это девчачье занятие, что “Украшения своими руками” — традиционный рождественский подарок для девочек. Его старший брат, отличный спортсмен, подсмеивался. Мать, Джозан, курила сигарету за сигаретой и умиленно смотрела, как сын старательно нанизывает для нее очередные бусы из мелкого индейского бисера. Позднее он сам стал обвешиваться похожими ожерельями — уже после того, как порвал

с отцом, отказался делать карьеру и в католической церкви, и в бизнесе, и в армии, когда увлекся ЛСД и поклялся жить только ради искусства.

Роберту было нелегко решиться на разрыв с семьей. К искусству его влекло неудержимо, но расстраивать родителей не хотелось. О детстве, о родных Роберт упоминал редко. Непременно твердил, что получил хорошее воспитание, был огражден от бед и жил в полном достатке. Но свои истинные чувства всегда скрывал, подражая стоическому характеру своего отца.

Мать мечтала, что он станет священником. Ему нравилось прислуживать у алтаря, но больше потому, что было сладко входить в тайные помещения. Нравилась ризница, идея запретных комнат, облачения и ритуалы. С церковью его связывала не религиозность, не благочестие, а чувство прекрасного. Пожалуй, упоение битвы добра со злом влекло потому, что отражало его внутреннюю борьбу, высвечивало грань, которую мог переступить и он. И все же у первого причастия он стоял гордый: сознавал, что выполнил священную обязанность, наслаждался всеобщим вниманием. На шее у него был огромный бодлеровский бант, на рукаве — повязка, совсем как у Артюра Рембо на его детских фотографиях. Только Артюр и в малолетстве смотрел бунтарем.

Дом, где Роберт жил с родителями, не отличался ни рафинированным художественным вкусом, ни богемным беспорядком. Это был чистенький уютный особняк, типичный для послевоенного среднего класса: в газетнице — газеты, в шкатулке для драгоценностей — драгоценности. Гарри, отец Роберта, порой бывал суров и категоричен. Эти качества, как и сильные чуткие пальцы, Роберт унаследовал. А от матери взял аккуратность и лукавую улыбку, в которой вечно чудилась какая-то загадка.

В холле дома висели несколько рисунков Роберта. Пока он жил с родителями, усердно старался быть почтительным сыном, даже специальность выбрал по отцовской воле — промышленный дизайн. Если же Роберт что-то открывал для себя самостоятельно, то помалкивал. Роберт обожал слушать рассказы о моих детских приключениях, но когда я его спрашивала, мало что мог поведать. Говорил, что в его семье никогда особо между собой не разговаривали, не читали книг, не делились сокровенным. Общей мифологии у них не было: никаких повестей о кладах, предательствах и снежных крепостях. Жили в безопасности, но не в сказке.

— Моя семья — это ты, — говорил Роберт.



В юности я здорово влипла.

В 1966-м, в конце лета, я переспала с парнем, который был еще младше меня, и мы с первого же раза зачали ребенка. Я пошла к врачу, но он не поверил моим тревогам: прочел мне, слегка зардевшись, лекцию о менструальном цикле и спровадил. Но прошло несколько недель, и я осознала, что действительно беременна.

Я выросла во времена, когда секс и брак были абсолютными синонимами. Контрацептивы нельзя было купить просто так, да и я в свои девятнадцать была до наивности неискушена в вопросах секса. Наши ласки были такими скоротечными и нежными, что я даже сомневалась, увенчалось ли наше вожеление настоящим соитием. Но природа оказалась сильнее нас и оставила за собой последнее слово. От меня не ускользнула ирония судьбы: именно на меня, хотя я

вообще не желала быть девчонкой и тем более взрослеть, свалилось это испытание. Природа сбила с меня спесь.

Возложить ответственность на парня — семнадцатилетнего, совершенно неопытного — было невозможно. Я должна была все улаживать сама. Утром в День благодарения я присела на кушетку в постирочной комнате в доме моих родителей. В этой комнате я спала, когда летом работала на фабрике, да и в остальное время, когда приезжала из педагогического колледжа Глассборо, где училась. За стеной слышались голоса: мама с папой варили кофе, брат и сестры, рассевшись за столом, пересмеивались. А я-то — старшая сестра, гордость семьи: поступила в колледж, учусь на медные деньги, сама себя обеспечиваю! Отец опасался, что замуж я по своей неказистости не выйду, и надеялся, что профессия учительницы станет для меня верным куском хлеба. Если я останусь без диплома, отец будет просто сражен.

Я долго сидела и глядела на свои руки, сложенные на животе. Парня я освободила от ответственности: он был точно мотылек, который силится выбраться из кокона, и я бы сама себя возненавидела, если бы помешала его неуклюжему рождению для большого мира. Я знала: парень мне ничем помочь не сможет. Но знала и то, что мне одной с младенцем не управиться. Я доверила свою тайну одному добряку преподавателю, и он подыскал интеллигентную супружескую пару, мечтавшую о ребенке.

Я осмотрела свое жилище: стиральная машина, сушилка, большая ивовая корзина, доверху набитая грязным постельным бельем, на гладильной доске — сложенные рубашки моего отца. Был еще столик, на котором я разложила свои карандаши, альбом для набросков и книгу “Озарения”¹. Я си-

1 Сборник стихотворений в прозе Артюра Рембо.

дела, набиралась духа для разговора с родителями, беззвучно молилась. На миг мне показалось, что я вот-вот умру, и столь же моментально я осознала: все уладится.

На меня вдруг снизошло колоссальное спокойствие. Вытеснив страхи, во мне поселилось всепобеждающее ощущение моей миссии. Показалось, это ребенок мне его внушил — понял, как мне тяжело, пришел на выручку. Мной овладел полный душевный покой. Я выполню свой долг, позабочусь о своем здоровье, не стану отчаиваться. Ни за что не буду жалеть о прошлом. Не вернусь ни в типографию, ни в педагогический колледж. Стану художницей. Докажу, что кое-чего стою. Я встала и отправилась на кухню.

Из колледжа меня отчислили, но мне было уже все равно. Я знала, что не создана быть учительницей, несмотря на все мое уважение к этой достойной профессии. Жила себе дома, в каморке со стиральной машиной.

Боевой дух во мне поддерживала Дженет Хэмилл, моя однокурница и землячка. После смерти своей матери Дженет поселилась у нас, я поделила с ней мою каморку. Нас объединяли дерзкие мечты и любовь к рок-н-роллу: мы за полночь дискутировали о сравнительных достоинствах *The Beatles* и *The Rolling Stones*. В магазине “Сэм Гудиз” отстояли многочасовую очередь за “Blonde on Blonde”, а потом обыскали всю Филадельфию в поисках такого же шарфа, как у Боба Дилана на конверте этого диска. Когда Дилан разбился на мотоцикле, ставили свечки за его здоровье. Лежали в высокой траве и слушали “Light My Fire” по радио из дряхлой машины Дженет, припаркованной с распахнутыми дверцами на обочине. Обрезали свои длинные юбки до мини — под Ванессу Редгрейв в “Фотоувеличении”, рылись в секонд-хендах, надеясь обзавестись пальто а-ля Бодлер и Оскар Уайльд.

Дженет оставалась моей верной подругой до самых родов, но когда у меня вырос живот, я была вынуждена искать себе другое пристанище. Соседи просто сживали моих родных со свету — глядели на них так, словно они преступницу укрывают. Я нашла себе “приемную семью” — тоже по фамилии Смит. Жили они чуть южнее, на берегу океана. Муж-живописец, жена-керамист и их маленький сын. Приютили они меня по своей доброте. Семейство жило по строгим правилам, но атмосфера была теплая: питались в соответствии с системой макробиотики, слушали классическую музыку, интересовались искусством. Я чувствовала себя одиноко, но Дженет при каждой возможности меня навещала. У меня были кое-какие карманные деньги. Каждое воскресенье я совершала долгую прогулку пешком, чтобы посидеть в безлюдном кафе на пляже и выпить чашку кофе с пончиком: в доме, где я жила, поклонялись здоровой пище, а кофе и выпечка были вне закона. Я смаковала эти мелкие излишества, кидала в музыкальный автомат четвертак и ставила три раза подряд “Strawberry Fields”. Таков был мой личный священный обряд; слова и голос Леннона давали мне силы, когда становилось невмоготу.

После пасхальных каникул за мной приехали родители. Роды совпали с полнолунием. Родители отвезли меня в больницу в Кэмдене. Поскольку я была незамужняя, медсестры обращались со мной черство и жестоко, несколько часов продержали меня на столе, прежде чем уведомить врача о начале родов. Насмехались над моей внешностью — я выглядела как настоящая битница, — прохаживались насчет моего аморального поведения, обзывали “дочкой Дракулы” и грозились отрезать мои длинные черные волосы. Потом пришел врач и страшно возмутился. Я слышала, как он кричал на медсестер — сказал, что предлежание тазовое и меня

нельзя было оставлять без внимания. Пока я рожала, из-за открытого окна всю ночь доносились мальчишеские голоса, поющие а капелла. Гармония на четыре голоса на перекрестках Кэмдена, штат Нью-Джерси. Потом подействовал наркоз, и последнее, что я запомнила, — встревоженное лицо врача и перешептывания медсестер.

Мой ребенок родился в годовщину бомбардировки Герники. Помню, я подумала об этой картине, о рыдающей матери с мертвым ребенком на руках. Пусть мои руки будут пусты, пусть я буду рыдать, но мой младенец выживет, он крепкий и здоровый, его окружают заботой. Я верила в это всей душой.

На День памяти павших воинов я поехала на автобусе в Филадельфию, чтобы постоять у статуи Жанны д'Арк неподалеку от Музея изобразительных искусств. Когда я в детстве впервые оказалась в этом музее, статуи еще не было. Как красива была Жанна на коне, поднимающая свое знамя к самому солнцу. Девочка-подросток, она выручила своего короля из плена и возвела на трон в Руане только для того, чтобы ее предали и сожгли на костре. Юная Жанна, которую я знала по книгам, и ребенок, которого я никогда не узнаю: им обоим я дала клятву, что выйду в люди, и поехала домой. Сделала остановку в Кэмдене, зашла в секонд-хенд и купила длинный серый плащ.



В тот же самый день в Бруклине Роберт закинул ЛСД. Предварительно навел порядок в мастерской: разложил на низком столике альбом и карандаши, положил на пол подушку для сидения. Приготовил чистый лист мелованной бумаги. Он знал: еще не факт,

что на пике наркотического эффекта он сможет рисовать. Но художественные принадлежности все-таки старался держать под рукой — авось понадобятся. Он и раньше пробовал работать под кислотой, но она уводила его в чернуху, в миры, куда он обычно не допускал себя усилием воли.

Часто красота, которая ему открывалась, на поверку оказывалась обманкой, плоды творчества — безобразными и агрессивными. Он не задумывался, отчего так происходит. Принимал как данность.

Сначала кислота показалась слабой, и он расстроился: значит, зря увеличил дозу против обычной? Он уже прошел через этап предвкушения и нервного воодушевления. Эти ощущения он обожал. Отслеживал, как страх и трепет, возникая где-то под ложечкой, растекаются по телу. То же самое чувство он испытывал в детстве, когда стоял, мальчик-алтарник в тесной сутане, за бархатной занавесью и держал крест, готовился выйти в путь.

Подумалось: ничего не выйдет.

Переставил золоченую рамку на каминной доске. Заметил, как по его жилам течет кровь, проходит через запястье, заметил яркий краешек манжеты. Заметил вокруг себя комнату: вся в самолетах, сиренах и псах, и стены заметил — они пульсировали. Осознал, что стискивает зубы. Заметил свое собственное дыхание, точно дыхание бога в обмороке. Накатила ужасающая ясность: от стоп-кадров прошлого подкосились ноги. Череда воспоминаний тянулась как ириска: корпус подготовки офицеров-резервистов¹, укоризненные взгляды однокурсников, сортир, затопленный святой водой, одnogруппники проходят и смотрят равнодушно, как собаки, необобре-

¹ *Корпус подготовки офицеров-резервистов* — программа в высших учебных заведениях США. Представляет собой учебный курс, на который студенты записываются добровольно.

ние отца, исключение из корпуса и материнские слезы: во всем кровотоцит его одиночество, его личный конец света.

Попробовал встать. Ноги совершенно не слушались — затекли. И все-таки он сумел встать и растер ноги. Вены на руках странно набухли. Снял рубашку, насквозь пропитанную светом и потом, — сбросил свою кожу, в которой томился, как в тюрьме.

Опустил глаза — на столе бумага. Разглядел на листе рисунок — ничего, что никакого рисунка пока нет. Снова присел на корточки, уверенно водил карандашом в последних лучах вечернего солнца. Завершил два рисунка — аморфные паутинки. Написал слова, которые пришли к нему сами, и ощутил весомость написанного: “Разрушение вселенной. 30 мая 1967”.

Хорошая работа, подумал он с легким сожалением. Ведь никто не увидит того, что он повидал, и никто не поймет. Так уж заведено, он уже притерпелся. Живет с этим ощущением всю жизнь, только раньше пытался как-то повиниться за то, каким уродился, компенсировать это окружающим — словно сам виноват в своей непонятости. Компенсировал своим мягким характером, силился заслужить одобрение отца, учителей, ровесников.

Он точно не знал, хороший он человек или плохой. Альтруист или нет. Демон или нет. Но одно знал точно. Он художник. И за это никогда ни у кого не станет просить прощения. Он прислонился к стене, выкурил сигарету. Почувствовал вокруг себя ауру отчетливой ясности. Слегка вздрогнул, но понял: ничего, это просто физиологическая реакция. В нем зарождалось еще какое-то новое чувство, которого он не умел назвать. Ощущение, что он сам себе хозяин. Рабству конец.

Когда стемнело, он заметил, что испытывает жажду. Дико хотелось шоколадного молока. Он знал, где пока еще

открыто. Похлопал по карманам: мелочь есть, завернул за угол и пошел к Мертл-авеню, широко ухмыляясь во мраке.



Летом 1967 года я подвела итоги истекшего этапа своей жизни. Я произвела на свет здоровую дочь и вверила ее заботам любящей интеллигентной семьи. Бросила педагогический колледж: чтобы доучиться, у меня не хватало ни самодисциплины, ни интереса к учебе, ни денег. Работаю за минимальную зарплату в Филадельфии на полиграфической фабрике, где печатают учебники.

Куда теперь отправиться и чем там заняться? Вот какой вопрос надо было решать прежде всего. Я не отказывалась от надежд стать художницей, хотя и знала: денег на учебу в школе искусств взять неоткуда, мне бы самой прокормиться. В моем городке меня ничто не удерживало: никаких перспектив, никакого чувства общности. Родители растили нас в атмосфере богословских диспутов, сочувствия ближним, борьбы за гражданские права, но общая атмосфера в поселках Нью-Джерси мало благоволила людям искусства. Мои многочисленные единомышленники переехали в Нью-Йорк, чтобы писать стихи и учиться на художников, и я чувствовала себя совершенно одинокой.

Моим утешением стал Артур Рембо. Я набрела на него в шестнадцать лет на лотке букиниста напротив автовокзала в Филадельфии. Его надменный взгляд с обложки “Озарений” скрестился с моим. Его язвительный ум высек во мне искру, и я приняла Рембо как родного, как существо моей породы, даже как тайного возлюбленного. Девяносто девяти центов — столько стоила книга — у меня не нашлось, и я ее просто прикарманила.